

ИЗ ПИСЕМ ГЕОРГА ЗИММЕЛЯ ГРАФУ ГЕРМАНУ КАЙЗЕРЛИНГУ

Страсбург, 2— 3—1918

Дорогой граф,

тому, что полученное сегодня Ваше письмо — большая для меня радость, есть несколько причин. Прежде всего, оно свидетельствует, что Вы живы и, кажется, благополучны: события последних месяцев весьма обеспокоили меня на этот счет. Но есть и другая причина, к коей я не премину обратиться, в надежде впредь никогда не возвращаться к этому. На первом или втором году войны (точная дата выпала из памяти) французские газеты сообщили о докладе, сделанном Вами в Лондоне. Ваши высказывания о немецком духе, причем не только политическом, могли бы надолго развести нас. Вы не станете подозревать меня в шовинизме или националистической тупости; я бы не хотел становиться судьей в вопросе об объективной правоте или неправоте таких утверждений. Но только ведь я люблю Германию — идею Германии. Я естественным образом сросся с нею, и тот, кто в такое время, когда нам приходится бороться, когда дело идет о бытии и небытии Германского Духа (а не только германской мощи и хозяйства) в мировой истории, кто в такое время объявляет себя противником этого духа — тот оказывается моим врагом и должен оставаться таковым даже и тогда, когда война окончится и политическая вражда завершится примирением. Должен признаться: чувство глубокой горечи долго не оставляло меня. К большому моему облегчению, несколько месяцев назад я услышал, что это французское известие было фальшивкой и что в течение всей войны Вы вообще не были в Лондоне и, значит, никакого доклада не делали. Не могли бы Вы сообщить мне что-нибудь о происхождении всей этой загадочной истории? В этом отношении Ваше письмо меня тоже обрадовало: я не могу себе вообразить, что Вы написали бы его, будучи когда-либо намерены или убеждены <в необходимости> деклассировать германство таким неполитическим образом.

Я всю войну пробыл в Страсбурге, лишь ненадолго выезжая с докладами по Германии в благотворительных целях, на Западный фронт, к студентам в солдатских шинелях, а недавно — в Голландию по приглашению амстердамских студентов. Невозможно высказать, как трудны были эти годы и как трудно нам до сих пор; пожалуй, они состарили меня вдвое или втрое против того, что обычно делает время (мне недавно исполнилось 60). Внешне вся жизнь протекала спокойно, даже монотонно, поэтому внутреннее возбуждение не находило того выхода, какой ему способны открыть внешние превратности судьбы. Обеспокоенность по поводу Германии и печаль по утраченной Европе усиливали друг друга. Все это стало для меня таким бременем, о котором я еще четыре года назад и подумать не мог, равно как и о том, что у меня покуда еще хватит сил его выносить. Горше всего для меня мысль, что это самоубийство Европы в пользу Америки открывает новый акт мировой истории, продолжающей свое продвижение с Востока на Запад. Как несколько тысячелетий тому назад она достигла кульминации в Азии, а затем переместилась в Европу, так теперь она

может идти дальше, в Америку — Европа же станет тем, чем была Греция в эпоху Римской империи: любопытной целью для поездок американцев, со множеством руин и великих воспоминаний, — и она все еще будет поставщиком художников, ученых и болтунов. Прав был уже Якоб Буркхард, 40 или 50 лет назад писавший, что мы все слишком доверяем «безопасности наших обстоятельств». Несмотря на такие мысли, не дать истощиться силам, напротив, напрягать их для достижения все более высоких результатов — большего, пожалуй, невозможно и требовать во имя идеи.

Мне остается только сообщить Вам о наших общих друзьях: Макс Вебер получил приглашение в Вену, но пока едет туда только для пробы, на один семестр, а уже потом решит окончательно. Альфред Вебер и Гундольф служат в Берлине.

Как только установится надежное почтовое сообщение, я отправлю Вам вышедшую в 1916 г. мою книгу о Рембрандте. Что касается философии искусства — это пока мой кусочек «итога мудрости земной». Ныне я пребываю в весьма трудных этических и метафизических изысканиях, которые, если успею их завершить, тоже станут частью моего завещания. Я теперь в том возрасте, когда настало время жатвы, и никакие отсрочки уже не позволяют.

Итак, прощайте, дайте вскорости знать о себе — надеюсь, и Вы надеетесь, что нам суждено в обозримом будущем встретиться и найти друг друга в том вневременном, что, подобно мосту, который невозможно разрушить, простерто надо всеми пропастями и бурными потоками происходящего.

С приветом,
преданный Вам Зиммель.
Поручение передать весточки <от Вас> я исполню.

Временно в Шварцвальде

18.5.18

Дорогой граф,

я сразу ответил бы на Ваше письмо, которое меня очень тронуло, если бы последние дни в Страсбурге не были столь беспокойными; на Троицу я, наконец, уехал и теперь в лесном уединении¹ могу писать спокойно и подробно. Вашу боль я могу не только понять, я разделяю ее с Вами в высшей степени: мировой рок выбил почву у Вас из-под ног, ибо части ее теперь навсегда оторваны друг от друга. Всю свою жизнь я, не колеблясь, ощущал себя хорошим немцем, однако для меня это не противоречило тому, что я также хороший европеец. Это самое существенное в германском типе, если брать его широко. И то, что, по меньшей мере, на время моей жизни Европа проиграна — это такое горе, преодолеть которое мне уже не дано. Исчезла не только реальность Европы, но ее *идея*, потому что ведь, в конечном счете, — это идея не вневременная, как «человечество» или «красота», но историческая; она, правда, обитала и в *υπερουράνιο*ξ

¹ Waldeinsamkeit — одно из любимых выражений немецких романтиков; в письмах Зиммеля много таких «ключевых слов», по которым люди его культурного круга распознавали «своего».

τόποξ², но лишь покуда не вышли сроки, а мне и в голову не приходило, что придется пережить подобное. Кто-то, наверное, мог бы утешить себя надеждой, что идея эта снова поднимется — через много десятилетий и в другом образе. И я сам — отвлекаясь от своего существования — думал бы точно так же, если бы не Америка, Ибо я убежден, что эта война в конечном счете ведется в пользу Америки, подобно тому как война между Афинами и Спартой велась в пользу Александра и Рима; я убежден, что указатель мировой истории поворачивает на запад, подобно тому, как однажды он уже переместился с Азии на Европу; я убежден, что когда-нибудь Европа будет для Америки тем же, чем были Афины для поздних римлян: целью путешествий для молодежи, множеством любопытных руин и великих воспоминаний, поставщиком для художников, ученых и мудрствующих болтунов. Наши враги ослеплены, ибо не видят, что они, продолжая войну, прямо-таки навязывают Америке роль *tertium gaudens*³, что любое заключение мира, будь оно благоприятным или неблагоприятным для отдельного человека, уменьшит эту чудовищную опасность, что каждая граната, поставляемая Америкой Англии, рано или поздно поразит в сердце самое Англию.

При этом я отнюдь не держусь того мнения, что эта судьба неизбежна. Если бы после войны Европа не распадалась, если бы возобладала мысль, что эта война есть *общая* судьба и залечивать нанесенные ею раны — это труд непременно *общий*, в котором все должны помогать друг другу, тогда, я думаю, по меньшей мере в обозримом будущем, Европа еще потягалась бы с Америкой. Но при этой ненависти, дальше и дальше, на время мира, планируемом самоубийстве Европы... Тут я не вижу выхода.

Конечно, можно быть настолько наднациональным, чтобы утверждать: если когда-нибудь возникнет мировая американская культура, формы которой мы способны предвидеть не более, чем древние египтяне способны были предвидеть формы современного государства, то здесь, собственно, нет повода для жалоб. Почему бы это Европе иметь культуру в бессрочной наследственной аренде? Если Европа должна ее уступить, то значит ничего лучшего она не заслужила. Пожалуй, это слишком: мыслить и даже чувствовать, безотносительно к своему культурному эгоизму и своим, в конечном счете, историческим оценкам.

Мне было бы очень интересно узнать, какие именно симптомы «тому уж десять лет» заставили Вас поверить в упадок Европы. О себе я этого сказать не могу. Напротив, я верил, что ужасная эпоха машин и сугубо капиталистических оценок подходит к концу, я верил, что вижу признаки новой духовности, еще слабые, без подлинных ориентиров, однако в моих глазах совершенно недвусмысленные. Но с этим теперь, конечно, покончено. И все-таки не в столь широком смысле и, быть может, безо всякого мирового значения еще существует кое-что такого рода, что, правда, ускользает от Вас из-за Вашей оторванности от сегодняшней Германии⁴. А именно, всю нашу нынешнюю молодежь пронизывает

² В надмирном пространстве (*греч.*).

³ Третьего радующегося, «когда двое дерутся» (*лат.*).

⁴ Кайзерлинг находился в Эстонии и долгое время не мог вырваться в Германию.

страстное революционное устремление к *vita nuova*⁵, воля к борьбе за одухотворение жизни, не абстрактное, теоретическое или эстетическое, но с практической хваткой. Здесь не идеалистический уход от мира, а его обработка, однако в совершенно идеалистическом смысле; смертельная враждебность всякой буржуазности, всякой машинизации и американизации, но с использованием тех сил, которые принесли с собой эти тенденции. В этом движении много неясного бурления, много бесстыдной агрессии, но есть и чудовищная витальность, и в высшей степени радующее меня наступление на старые прогнившие стены, еще со всех сторон окружающие нас. Основа тут иногда дионисическая, иногда аскетическая, но всегда с ориентацией на духовное и сущностное. Как уже сказано, побочные явления зачастую не радуют, нужна добрая воля, чтобы не дать им отпугнуть себя. Но в сердцевине их я вижу то, что можно было бы назвать немецкой надеждой⁶. Я не знаю, есть ли во Франции какое-то подобие этого (ибо мы не узнаем о враге ничего, что не относится к войне), но мне почти хотелось бы в это поверить. Англия, пожалуй, так далеко не пошла: она слишком укоренена в своем буржуазном консерватизме.

Меня не удивляет то, что Вы рассказываете о Бергсоне, с тех пор как я, благодаря одной примечательной случайности, детально ознакомился с его академической речью, произнесенной осенью 1914 г. Никто не стал бы требовать от него беспристрастности или ставить ему в упрек горячий патриотизм и даже ненависть к Германии, ибо Германия оказалась исполнителем приговора, вынесенного Францией мировой историей. Но то, что он, под маской холодной научности, выкладывает глупейшие росказни о немецких зверствах, что он, весьма хорошо знающий немецкую духовность, не хочет видеть у нас ничего, кроме мертвой механизации жизни, в противоположность чему Франция якобы полна цветущей жизни (страна двухдетных семей и неудержимого убывания народонаселения!⁷) — это просто недостойно и демонстрирует непростительную форму психоза, которая как раз у него особенно подозрительна.

Если в июне Вы приедете в Германию, не могли бы мы встретиться в Баден-Бадене? Ваш приезд в Страсбург исключается, а я сам не могу в ближайшие месяцы предпринимать дальние поездки; все же не повидаться было бы слишком абсурдно. Со своей стороны, я не сомневаюсь, что подлинного «восстановления связи» между нами не требуется. Я не думаю, что нечто прервалось <между нами>, будь то убеждения или взаимная настроенность⁸. В этом году

⁵ К новой жизни {итал.}; «Vita nuova» также название сочинения Данте. См. первое примечание.

⁶ Может быть, Зиммель имел при этом в виду и одного из виднейших идеологов немецкого Jugendbewegung (движения молодежи), будущего теоретика «революции справа» и критика формальной социологии Зиммеля Х. Фрайера. Книга Фрайера «Антей», вышедшая в 1917 г., встретила горячее одобрение Зиммеля.

⁷ Во Франции в XIX в., под влиянием неомальтузианских идей, широко распространилась практика внутрисемейного контроля над рождаемостью; из всех европейских стран именно во Франции произошло в это время резкое падение прироста населения.

⁸ Зиммель использует сложное для перевода немецкое «Gesinnung» — это и убеждение, и настроение, и душевный настрой.

мне исполнилось 60, я не верю, что впереди у меня еще долгая жизнь, я больше не могу откладывать встречи с людьми, которые для меня важны объективно и субъективно.

С сердечной преданностью, Ваш Зиммель.

Пожалуйста, засвидетельствуйте мое почтение Вашей сестре. Моя супруга самым сердечным образом отвечает на Ваше приветствие.

Страсбург, 5.7.18

Дорогой граф,

благодарю Вас за известия (которые, впрочем, я не смог до конца себе уяснить). Я прекрасно понимаю, что после столь долгой изоляции от всякой духовной среды Вас привлек и даже очаровал тот круг личностей, о котором Вы говорите. В нынешней Европе вряд ли можно найти другой, духовно более богатый и подвижный. Но Ваше знание людей, которое я весьма ценю, вероятно, скоро подскажет Вам, что все эти люди (за исключением Альфреда Вебера) в некотором роде сущностно несубстанциальны. В *конечном* счете, для них важны не сами вещи, но Я, сверкание, игра богатого свободно парящего духа. Если я говорю, что здесь не чувствуется твердой почвы под ногами, что здесь нет морали духовности (и не только духовности), то Вы, конечно, не заподозрите меня в филистерски-моралистических предрассудках. Думаю, никто не сможет более свободно, чем я, относиться даже к самым крайним экстравагантностям человеческой сущности. Но это не мешает тому, что ценность людей и подлинного отношения к ним для меня, в конечном счете, зависят от той прочности и надежности, которую можно назвать только моральной, хотя я с удовольствием подыскал бы для этого другое слово, звучащее совершенно небуржуазно. Для всех этих личностей (а знаю я их со времен их юности и, думаю, хорошо) прочность тождественна окоченению, застопоренности, тупости. И вот почему: сущность их — чистая флуктуация, она утекает туда, куда манят ее <возможность> удовлетворить тщеславие, максимум возбуждения, интеллектуальный блеск. Все они создают одно впечатление: *способность <быть> и другими*⁹; в конце концов, лишь по стечению обстоятельств, а не по внутренней необходимости они реакционны или революционны, свободомыслящи или строят из себя католиков, авторитарны или анархисты. Мне известно, сколь необыкновенно много в этом кругу духа и жизни, и все это разворачивается и, благодаря нынешней фундаментальной общности судьбы, обнаруживает некоторое единство, взаимную поддержку, что могло бы создать обманчивую видимость субстанциальной совокупной силы. Но если бы эти или им подобные люди стали вождями будущей Германии, я бы воспринял это вряд ли иначе, чем грозные письма на пиру Валтасара.

Написал я это, собственно, лишь для того, чтобы облегчить сердце. Вы, наверное, будете рассматривать сказанное как

⁹ У Зиммеля тут обманчиво простое, но очень многозначительное выражение: sie können alle auch anders. Эта формулировка едва ли не буквально воспроизводится Н. Луманом в его трактовке контингенции: Auch-anders-möglich-sein. Иноебытие, иное состояние (der andere Zustand) — идея фикс той эпохи, о чем свидетельствует в первую очередь «Человек без свойств» Р. Музиля.

совершенно беспочвенное предостережение.

Еще сердечный привет и благодарность за Ваш практический интерес к делам моей племянницы.

Ваш Зиммель.

Страсбург, 6.9.18

Дорогой граф!

Ваши приглашения к работе и путешествиям приходят как будто из другого мира. Бессмысленно скрывать далее, что я смертельно болен и что мои телесные и душевные силы сохранятся, быть может, еще несколько месяцев, однако надеяться приходится только на несколько недель. Но я ухожу с сознанием того, что жизнь моя, если мерить обыкновенными мерками, завершена и окончена хорошо; я ухожу, не ропща на судьбу, без уныния перед вечной разлукой, но с сознанием того, что так хорошо и что это — правильный момент. Примите благодарность за Ваш дружеский ко мне настрой. Тем же буду отвечать Вам и я — вплоть до самого конца. Прошу Вас не разглашать содержание этого письма.

Ваш Зиммель.

(Написано под диктовку Гертрудой Зиммель и подписано Г. Зиммелем).

(без даты, написано карандашом)

Мой дорогой, дорогой граф,

Вы не станете ждать от меня иного ответа на Ваше письмо, кроме рукопожатия — о таких последних вещах можно иногда что-то сказать, но они не могут быть предметом «корреспонденции», не теряя своей святости и торжественности. Одно лишь <скажу>: Вы относитесь к кругу людей, чья душевная аура <Nauch> создает ту атмосферу, в которой я теперь еще живу и буду жить до последнего вздоха. Это те, кого я люблю вне всякой объективной оценки.

Я могу выполнить Вашу просьбу насчет фотографии только этой, вырезанной из паспорта,— все остальные *еще* хуже.

Пожалуйста, продолжайте писать мне — каждое слово, столь полное жизни и силы, утешает меня в моей заботе о будущем Германии, том единственном на земле, чья тень еще ложится на мой путь.

На большее сегодня я не способен.

Всегда Ваш Зиммель.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

Архив Зиммеля не сохранился. О его обширной переписке мы можем судить только по очень немногим документам. Для данной публикации были отобраны письма, впервые напечатанные в кн.: *Simmel G. Das individuelle Gesetz. Philosophische Exkurse / Herausgegeben und eingeleitet von Michael Landmann. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1968, S. 237—253*. Первое письмо датировано 20 января 1906 г., а завершают подборку три письма, написанные женой Зиммеля Гертрудой. Вкратце их содержание таково. В письме от 13 сентября 1918 г. она сообщает, что болезнь Зиммеля началась весной того же года, и он сразу заподозрил смертельное заболевание, а в начале июня было уже ясно, что у него рак печени. При этой болезни, развивающейся молниеносно, быстро нарастает невероятная слабость. Зиммель напрягал последние силы (и отказывался облегчить дневные страдания морфием), работая над гранками своей книги «*Lebensanschauung*» («Жизневоззрение») — именно о ней он в одном из писем говорит, слегка перефразируя Гете, «*mein bisschen Weisheits letzter Schluss*» («мой кусочек конечной мудрости земной»), если напомнить о популярном переводе «Фауста»). В следующем письме, собственно, короткой записке от 21 сентября 1918 г., Гертруда Зиммель сообщает, что Зиммель уже не может принимать корреспонденцию. Последнее письмо (от 7 октября 1918 г.) отправлено после его смерти и датировано 7.10.18. В нем Гертруда Зиммель пишет, что книга ее мужа, наконец, напечатана и что их сын, батальонный врач в одном из немецких полков, стоявших на Украине, приехал слишком поздно: телеграфистка перепутала адрес.

Несколько слов о Г. фон Кайзерлинге (1880—1946), имя которого, скорее всего, мало что говорит большинству читателей. Может быть, у кого-то из любителей немецкой интеллектуальной романистики начала века всплывет в памяти его, пожалуй, самое известное сочинение: «*Das Reisetagebuch eines Philosophen*» («Путевой дневник философа»). Чтобы обойтись без привычных ярлыков («иррационализм», «интуитивизм» и т. п.), назовем несколько других его книг: «Строение мира», «Бессмертие», «Творческое познание», «Философия как искусство», «Возрождение», «Путь к совершенству». Кайзерлинг прославился в Германии 20-х годов и организацией элитарной «Школы мудрости» в Дармштадте, на ежегодные заседания которой приглашались такие видные мыслители, как М. Шелер и Х. Дриш.

Перевод и примечания А. Ф. ФИЛИППОВА